

Научная статья
УДК 821.161.1 + 82-6
doi: 10.17223/19986645/76/13

«Наследник по прямой»: механизмы и функции литературной автоканонизации Г.Д. Гребенщикова

Александр Юрьевич Горбенко

*Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева,
Красноярск, Россия, al_gorbenko@mail.ru*

Аннотация. На материале нефикциональной прозы (статьи, очерки, мемуары и т.д.) и эпистолярия Г.Д. Гребенщикова исследуются стратегии его литературной самоканонизации. Обосновывается, что она строилась на ряде инвариантных приемов, главным из которых стали разноплановые самопроекции на фигуры классиков – прежде всего А.С. Пушкина и Л.Н. Толстого. Такая практика стала для Гребенщикова одновременно способом формирования его персональной писательской мифологии, важным жизнетворческим ресурсом и инструментом институционального строительства.

Ключевые слова: Г.Д. Гребенщиков, литературный канон, литературная автоканонизация, литературоцентризм, автомифотворчество, жизнетворчество

Источник финансирования: исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), Правительства Красноярского края и Красноярского краевого фонда науки в рамках научного проекта № 20-412-243001.

Для цитирования: Горбенко А.Ю. «Наследник по прямой»: механизмы и функции литературной автоканонизации Г.Д. Гребенщикова // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2022. № 76. С. 282–305. doi: 10.17223/19986645/76/13

Original article
doi: 10.17223/19986645/76/13

“The Heir in a Straight Line”: Mechanisms and functions of George Grebenstchikov’s literary self-canonization

Alexander Yu. Gorbenko

*Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V.P. Astafiev,
Krasnoyarsk, Russian Federation, al_gorbenko@mail.ru*

Abstract. The article discusses the mechanisms and pragmatics of George Grebenstchikov’s multi-genre texts and behavioral gestures aimed at solving the

problem of literary self-canonization. The object of the research was determined by the corpus of materials – fictional (the novel “Churaev”) and nonfictional (memoir essays, articles, notes, letters and other documents) prose of Grebenstchikov and memoir testimonies about him. Archival documents are involved, some of them are introduced into scholarly discourse for the first time. The article considers the mechanisms and pragmatics of the writer’s verbal texts and behavioral gestures, which were aimed at solving the problem of his literary self-canonization. The Grebenstchikov version of the Russian national literary canon is reconstructed. The mechanisms of Grebenstchikov’s self-projection on the figures of the writers who, in his opinion, were at the canon’s origin – Alexander Pushkin and Leo Tolstoy – are traced. The tasks that Grebenstchikov set for himself when developing these self-projections are revealed. The analysis has led to a number of conclusions. Regularly and persistently declaring his inheritance of the traditions of Pushkin and Tolstoy, Grebenstchikov sought to raise his status in the field of literature, trying to canonize his name “against the background” of the recognized classics. His strategy included not only the “positive” part, but also the “negative” one. Comparing himself with Tolstoy, the Siberian writer periodically used his figure as a “constitutive Other” (Iver Neumann), and, describing his conversation with the monument to Pushkin in the essay “Visiting Pushkin”, he extremely reduced the distance between himself and the poet, using the strategy of “intimatization” of relations with the classic. Grebenstchikov’s literary self-canonization had a number of interrelated tasks, the main of which was to strengthen the personal myth of the writer “from the people”, who has the right to a special place in the literary field. In addition, literary self-canonization became an important life-creation resource and an instrument of institution-building for Grebenstchikov.

Keywords: George Grebenstchikov, literary canon, literary self-canonization, literary centrism, self-mythmaking, life-creation

Financial Support: The research was funded by RFBR, Krasnoyarsk Territory and Krasnoyarsk Regional Fund of Science, project number 20-412-243001.

For citation: Gorbenko, A.Yu. (2022) “The Heir in a Straight Line”: Mechanisms and functions of George Grebenstchikov’s literary self-canonization. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology*. 76. pp. 282–305. (In Russian). doi: 10.17223/19986645/76/13

В этой статье мы ставим целью рассмотреть механизмы и прагматику разножанровых вербальных текстов и поведенческих жестов Г.Д. Гребенщикова, направленных на решение задачи его литературной автоканонизации. При этом мы будем различать риторическую активность (автомифотворчество) и пересечение границы между реальностью и искусством в области повседневного (или «бытового», по Ю.И. Лотману) поведения (жизнетворчество).

Для достижения этой цели сначала необходимо описать концептуальную рамку, в которую мы поместим исследуемый материал. Проблема апелляции к идее классики или к отдельным представителям литературного канона в целях легитимации собственных позиций подробно разработана в гуманитарной науке последних десятилетий на разном материале. Позиции исследователей, как правило, различаются в зависимости от понимания канона либо как «инструмента социальной доминанции» («социоло-

гическое направление»), либо как корпуса произведений, которым имманентно присущ набор эталонных этических и эстетических качеств, которых лишены другие произведения («аксиологическое направление») [1. С. 11–15] (ср.: [2. С. 8–9]).

Мы, вслед за представителями «социологического направления», будем понимать литературный канон как инструмент идеологической борьбы, обладающий существенным потенциалом не только внутри литературного поля, но и за его пределами – в поле власти, поскольку такой подход более всего соответствует специфике жестов Гребенщикова, направленных на решение задачи литературной самоканонизации.

По словам С.Н. Зенкина, «[п]ретендуя на тотальный контроль культурного пространства, классика служит институтом власти, и априори ясно, что борьба за канонизацию того или иного литературного факта или за интерпретацию уже освященных традицией “классических” текстов всегда представляет собой более или менее скрытую идеологическую борьбу» [3. С. 32–33]. Такая ситуация предполагает, что литературным «авторитетом назначают <...> его конструируют» [4. С. 324]. Иначе говоря, для создания классики «необходима санкция публичной власти» [5. С. 134].

Наконец, мы согласны с тем, что одна из главных социальных функций идеи классики состоит в «апелляци[и] к образцам и авторитетам “прошлого”, с которыми устанавливались отношения “наследования” <...>» [6. С. 10]. В такой перспективе становится ясно, что конструирование связей преемственности по отношению к классике может приобретать характер насущной потребности для начинающего автора, тем более для представителя социальных низов, не обладающего достаточным для достижения поставленных целей символическим капиталом.

Подобное понимание литературного канона не исключает попыток его «присвоения» какими-либо социальными или литературными группами¹ или даже отдельными людьми. Именно таков случай Гребенщикова, обсуждая который следует говорить об автоканонизации, понимаемой нами как совокупность усилий автора, направленных на самостоятельное вхождение в литературный пантеон, т.е. своего рода «узурпацию» статуса классики.

Исходя из «социологического» подхода, следует признать, что автоканонизация едва ли возможна как таковая (это отличает его, например, от влиятельного подхода Х. Блума²). Однако констатация теоретической не-

¹ Среди работ, выполненных на отечественном материале и посвященных конструированию канона или его отдельных фрагментов литературными группами с целью самоопределения, самоописания, автолегитимации внутри литературного и – шире – культурного поля, укажем те, в которых исследуются различные как в хронологическом, так и в социокультурном отношении фигуры и практики: [7. С. 531–599; 8. С. 64–73; 9. С. 180–273].

² Правда, Блум, утверждавший, что «всякая сильная литературная самобытность становится канонической» [10. С. 38], постулировал не возможность «узурпации» классического статуса в результате автомифотворческой и/или жизнетворческой работы, а

возможности самоканонизации изнутри определенной теоретической рамки никак не исключает попыток достижения этой задачи на практике.

Если добавить к сказанному идею о каноничности как «мер[е] повторяемости, воспроизводимости в культуре» [12. С. 68], то процесс автоканонизации можно рассматривать как сочетание двух компонентов: 1) всесторонняя популяризация собственной фигуры, в широком смысле самореклама; 2) конструирование (или, при их реальном наличии, систематическое акцентирование и мифологизация) родственных связей с классиками и/или символического наследования им, продолжения их «традиций».

Мы сосредоточимся на втором аспекте (хотя полностью отделить их друг от друга едва ли возможно), поскольку анализ гребенщиковской саморекламы требует отдельного исследования. Обсуждение этого аспекта необходимо начать с реконструкции литературной позиции Гребенщикова и его версии канона национальной словесности.

Сразу оговоримся, что ключевые автомифотворческие и жизнетворческие стратегии Гребенщикова, как и его эстетические взгляды, можно без всякого насилия над материалом описать как систему, состоящую из констант и в общем виде сложившуюся и оформившуюся уже в 1910-е гг. Постараемся проследить этот набор инвариантов, всякий раз акцентируя внимание на динамике отдельных аспектов, которая становится тем важнее, чем стабильнее система в целом.

Гребенщиков неизменно позиционировал себя как литературного «консерватора»¹. Так, в программном письме к М. Горькому от 17 апреля 1928 г. он утверждал: «Я люблю действие упорное и люблю свою скромную роль в литературе. У меня тоже есть своя правда, несколько консервативная, но прочная» [14. Т. 4. С. 478]. Заявляя о решительном неприятии современных ему экспериментов в области поэтики и эстетики, Гребенщиков связывал с этим свою «роль в литературе» – «скромную», но особую. «Меня ни с какой стороны не соблазнила “новизна” выдвинутых революцией форм письма. Я становлюсь еще более упрямым в смысле простоты изложения моих мыслей и поэтому думаю, что <...> меня “новая” литера-

неизбежность классикализации литературы высокого эстетического уровня. Концептуальную и эвристически ценную критику построений Блума, в частности его размышлений о самоканонизации «сильного» автора, см.: [11]. Ямпольский подчеркивает, что «сколь бы “оригинальным” в блумовском понимании ни был тот или иной исторический роман, как бы ни владел его автор фигуративным языком и прочими атрибутами “сильного автора”, социальный консенсус, связанный с системой жанров, будет препятствовать его канонизации» [11. С. 216]. Разумеется, сказанное касается не только жанра исторического романа.

¹ Такое самоопределение соответствует разграничению «консерватизма» и «традиционализма», предпринятому К. Мангеймом. См.: [13. С. 593–597]. Согласно Мангейму, «традиционалистское поведение представляет собой практически чистую серию реакций на раздражители». Консервативное же поведение, напротив, «осмысленно, вдобавок осмыслено по отношению к изменяющимся от эпохи к эпохе обстоятельствам» [13. С. 596].

тура исключит из списка нужных литераторов», – писал он Горькому в марте 1922 г. [14. Т. 3. С. 482], демонстрируя заключением в кавычки слов «новизна» и «новая» иронически-снисходительное отношение к модернистским и авангардным способам письма.

Определяя свое место в литературном процессе эпохи, Гребенщиков активно использовал биолого-органицистскую метафорику (к которой прибегал с самых ранних эпистолярных самоописаний сибирского периода). Зачастую он эксплуатировал этот метафорический арсенал, характеризуя литературные течения как «здоровые» или «больные». Так, в статье «Певун-размыка-чародей» (1915), посвященной поэзии Н.А. Клюева, он утверждал, что «песни» последнего «благоухают ароматом неувядших полевых цветов, ладаном, искуряемым соснами и елями, они озарены пурпуром предрассветных зорь, обвеяны освежающей прохладой глубокой мудрости и согреты незакатным солнцем пантеизма» [15. Ед. хр. 467/1. Л. 1]. По мнению Гребенщикова, «[п]оэзия Клюева – нечаянная радость для издерганного, переутомленного русского читателя», уставшего от «изящны[х], но холодны[х] и бездушны[х]» стихов «ярко[го] созвездия[я] русской поэзии под буквой “Б”» [15. Ед. хр. 467/1. Л. 1]¹. Имелись в виду Брюсов, Бунин, Блок и Бальмонт, которые «часто создают изумительно изящные, но холодные и бездушные изваяния своей музыки» [15. Ед. хр. 467/1. Л. 1]².

Принципиально значимо здесь то, что Гребенщиков принимал стилизованность модернистской поэзии Клюева³ за «народную» простоту, а его самого характеризовал как «пришелец[а] из просторов полей и лесов Олонецкой губернии, просто[го] пахар[я] и мужик[а] с “огнекрылою душой” и “просветленным взором”» [15. Ед. хр. 467/1. Л. 1]. Схожее непонимание встречается и в описании Есенина, данном Гребенщиковым в очерке «Сергея Есенин» (1926), где автор называет поэта «братом моим крестьянином» и утверждает, что «богатыри-москвичи, разодевши обоих поэтов (Есенина и Клюева. – А.Г.) в шелковые рубахи и сафьяновые сапоги, носились с ними» [14. Т. 4. С. 448, 446]⁴. Лишая, таким образом, Клюева и Есе-

¹ В финале статьи Гребенщиков называет «песни Клюева» «чисты[м] воздух[ом] для читателя, отравленного и оскорбленного “футуристическими” кривляньями нашего времени...» [15. Ед. хр. 467/1. Л. 1].

² Вскоре Гребенщиков изменил отношение к этим поэтам. Так, подружившись с Бальмонтом во Франции, в очерке «Бальмонт» (1921) Гребенщиков ставил его в один ряд с Пушкиным и Л.Н. Толстым: «Благодаря Бальмонту, как и благодаря Пушкину, и Льву Толстому, и еще целому ряду божественных гостей земли, я делаю тот необходимый для моего земного существования вывод, который делает все мои скорби, все унижения и человеческие несправедливости ничтожными и легко переносимыми, а именно: раз существовали Пушкин и Толстой, и существует Бальмонт, и непрерывная, хотя и нежно-тонкая цепь воплощенных в грешную землю плоть ангелов, – значит есть Бог» [16. С. 179].

³ См. об этом, например: [17. С. 5–88].

⁴ Факты свидетельствуют о прямо противоположном – Клюев и Есенин целенаправленно «разодевали» себя сами, заказав, например, для московских выступлений начала 1916 г. «концертные костюмы и сапоги» [18. С. 102].

нина субъектности, Гребенщиков игнорирует сознательную театрализацию поведения «новокрестьянских» поэтов, «стро[ивших] на приверженности» к одному из «извод[ов] “национального творчества” свой литературный успех» и взявшихся «ввести в литературный мейнстрим модернизма голос современной деревни» [19. С. 185].

Очевидно, что и в случае Клюева и Есенина, и в случае самого Гребенщикова аудитории предлагались жизнетворческие перформансы, с той разницей, что Гребенщиков, одевавшийся подчеркнуто «по-городскому», не использовал семиотические возможности костюма как инструмента презентации собственного «крестьянского» мифа. Эти перформансы программировали рецепцию «искусственного», стилизованного поведения литераторов в качестве «естественного» и «природного»¹. В этой же перспективе важна приводимая Гребенщиковым характеристика, которая, по его словам, была дана ему Есениным. Если верить Гребенщикову, Есенин, встретив выходца из Сибири в Берлине, «тоном мудрого старца» укорял его: «Почему вы не в России? Что, у вас голубая кровь? Ведь вы же наш брат, Ерема!..» и «даже братски хлопнул меня по плечу» [14. Т. 4. С. 447, 448]. Семиотически эта ситуация прочитывается как легитимация искомого Гребенщиковым статуса писателя «из народа». При этом легитимирующей инстанцией является Есенин – поэт, чья «народность», как уже говорилось, была остро проблематической, «сконструированной», т.е. явилась результатом жизнетворческой активности, как и в случае Гребенщикова, что было очевидно уже многим современникам².

Вернемся к эстетическим декларациям Гребенщикова. В программной (пусть и оставшейся неопубликованной) статье середины 1920-х гг. «О судьбе русской литературы» Гребенщиков продолжал размышлять о «здоровой» и «больной» литературе, подчеркивая, что «ни одного футуриста, ни имажиниста, ни другого иста нѣтъ там (в России. – А.Г.) изъ народа» [15. Ед. хр. 699/7. Л. 4]. В этой статье (как и во многих других своих эмигрантских сочинениях – как фикциональных, так и нефикциональных) Гребенщиков демонстративно использовал и для машинописи, и для рукописной правки дореволюционный алфавит, что создавало гомологию консервативного содержания его трудов и их формы в самом буквальном, графическом, смысле (именно поэтому мы считаем необходимым сохранить графику, орфографию и пунктуацию Гребенщикова во всех случаях).

Показательно, что и спустя десятилетия, 19 апреля 1956 г., в письме, адресованном жившей в США старообрядке Вассе Колесниковой и иллюстрирующем неизменность декларируемого Гребенщиковым предпочтения «реалистического» «модерному», писатель вновь прибегает к сходному метафорическому арсеналу. Поблагодарив свою корреспондентку за приложенное ею письмо «матушки Аполлинарии», Гребенщиков заключает:

¹ Об основанных на автомифологизации литературных стратегиях Есенина см.: [20, 21].

² Специально о жизнетворческих «переодеваниях» Есенина и Клюева и реакции на них современников см., например: [18. С. 102–134].

«Теперь не только так писать не умеют, но и мыслить так не способны», после чего формулирует парадигмальный для своего мировоззрения тезис: «Все это современное при самом восходе сгнивает и пошлостью своей не нахвалится» [22. С. 89].

В этой перспективе вполне логичны и закономерны разноплановые самопроекции Гребенщикова на тех классиков русской литературы, которых он считал реалистами. Пожалуй, наиболее упорядоченная и развернутая гребенщиковская версия национального литературного канона содержится в его письме к Горькому от 17 апреля 1928 г., приуроченном к 60-летию последнего. Здесь А.С. Пушкин, открывающий классический канон, назван «мо[им] Богом, как бы ни сложилось будущее безбожие», а И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой и сам Горький охарактеризованы как «три великие ступени Русской Литературы» [14. Т. 4. С. 478–479]¹.

Включение в канон Горького в адресованном ему письме может быть интерпретировано и как часть «юбилейной» риторики всего текста (особенно если учесть, что Гребенщиков придавал большое значение разного рода юбилеям и юбилейным ритуалам), и как попытка восстановить эпистолярный диалог между литераторами, прерывание которого, судя по самым разным свидетельствам, тяжело переживалось Гребенщиковым. Так или иначе, Горький имел для автора «Чураевых» меньший символический вес, нежели Толстой и тем более Пушкин, и его фигура не была окружена таким сакральным ореолом. Тургенев же, насколько можно судить по обширному наследию Гребенщикова, не стал объектом его автомифотворческих и жизнестроительных самопроекций. Гребенщиков всячески акцентировал момент «учебы» у классиков и их благотворное влияние на собственное творчество. В этом же письме Горькому «три великие ступени Русской Литературы» названы «тр[емя] мои[ми] литературны[ми] учителя[ми]» и «моими как бы спутниками в жизни» [14. Т. 4. С. 478–479].

Едва ли случайно, что контуры канона были наиболее четко обрисованы Гребенщиковым уже в эмиграции – нужно учесть принципиальную важность житнетворческого самоопределения литераторов-эмигрантов «первой волны», в среде которых зародилась мифологема Серебряного века, с помощью сопоставления собственного творчества и биографий со случаями классиков – представителей века золотого².

Самыми многочисленными оказались примеры ориентации сибирского литератора на фигуру Л.Н. Толстого. Нам уже приходилось писать о «тол-

¹ Ср. принципиально иной перечень, включавший исключительно современников, с характерным утверждением в отсутствии амбиций встать с ними в один ряд, в наброске «О писателе, редакторе и читателе» (1952): «<...> я никогда не ставил себя в иконостас больших писателей, начиная по алфавиту: Алданов, Бунин, Зайцев, Ремизов и ещё кто?...» [15. Ед. хр. 56739/149. Л. 4].

² Анализ механизмов и прагматических задач рецепции творческого наследия и биографических образов классиков (на примерах рецепции наследия «первого русского романтика» В.А. Жуковского) отечественными писателями, прежде всего представителями русской эмиграции, см.: [8].

стовском» компоненте жизнетворчества Гребенщикова (см.: [23, 24]). Поэтому здесь мы вкратце напомним об этой составляющей стратегий автора «Чураевых», но в несколько иной теоретико-методологической перспективе, рассматривая «толстовский» субстрат как факт не только жизнестроительной, но и автомифотворческой активности писателя¹. Кроме того, мы привлекаем ряд новых материалов, в том числе архивных (некоторые из них вводятся в научный оборот). Все это в совокупности с новыми аналитическими наблюдениями позволит, как нам представляется, существенно расширить и уточнить уже имеющуюся картину².

Принципиально важна оговорка, с которой Гребенщиков начал свой очерк «У Льва Толстого» (1925), фактически декларируя недопустимость практики, которую мы называем автоканонизацией:

Лучшие традиции русской литературы не позволяют кому бы то ни было говорить или писать о себе. В особенности это недопустимо тогда, когда речь идет о каком-либо великом человеке. Но бывают исключения, в особенности для людей с открытою совестью, когда им хочется публично каяться и в покаянии своем найти особую радость не только для себя, но и для других. Я почти никогда не рассказывал и не писал о моей встрече с Львом Толстым, потому что мне трудно отделить огромную фигуру Льва Толстого от собственной персоны. Ибо рассказ о Толстом – это рассказ о нем в *моих переживаниях* [14. Т. 4. С. 418].

Однако к 1925 г. Гребенщикову уже несколько раз довелось рассказывать о встрече с Толстым, прежде всего в двух очерках («В Ясной Поляне» 1910 г., «Памяти Великого» 1915 г.) и «Автобиографической заметке 1922 года». В поздние годы Гребенщиков с разной степенью подробности возвращался к этой истории – в заметке «Волнуемся, как море-океан...» (1956), очерках, письмах, используя для этого самые разные поводы³.

¹ Помимо всего прочего, во время написания указанных работ мы стремились теоретически разграничить понятия «жизнетворчество» и «жизнестроительство», применяя к случаю Гребенщикова последнее. Сейчас же мы используем эти понятия как синонимические.

² Далее, рассматривая самопроекции Гребенщикова на наследие и биографию Толстого, мы частично опираемся на работу [23].

³ Например, уже подзаголовок упомянутой заметки «Волнуемся, как море-океан...» – «По поводу все того же фильма “Война и мир” Толстого» – свидетельствует о том, что фильм стал лишь поводом в очередной раз рассказать о своей поездке в Ясную Поляну, в ходе этого рассказа с неизбежностью переходя к «письму о себе». Судя по датировке машинописного текста (26 октября 1956 г.), речь идет о фильме К. Видора «Война и мир», вышедшем на экраны в том же году. Любопытно, что для названия «толстовской» заметки Гребенщиков использует искаженную цитату из «Бориса Годунова». Несколько иначе эта же цитата искажена в очерке «В гостях у Пушкина», который будет рассматриваться в качестве другого значимого примера автоканонизации Гребенщикова. Там она вложена в уста говорящего с рассказчиком поэта: «Представь себе, чего только я не посмотрел в одной только Москве, на Тверском бульваре, с тех пор как там меня поставили!.. Шестидесять семь лет я там стою и день и ночь и смотрю, как мимо меня проходит время, “событий полно, волнуется, как море-океан”...» [14. Т. 6. С. 377].

И всякий раз, рассказывая о встрече с Толстым, он «говорил или писал о себе».

Единственная встреча Гребенщикова с Толстым произошла на раннем этапе писательской карьеры сибиряка. В марте 1909 г., после болезненно воспринятой им критики омской премьеры его дебютной пьесы «Сын народа», Гребенщиков предпринял решительный шаг – поездку в Ясную Поляну к Толстому, который, по замечанию Джеффри Брукса, к началу XX в. «олицетворял классическое наследие», что пытались использовать в своих интересах различные группы русского общества [25. Р. 323].

Целью поездки, которую Гребенщиков описывал как литературное «паломничество»¹, было получение «благословения» на писательство². Эта цель была достигнута, что дало Гребенщикову возможность отнести Толстому в своем мифо-биографическом нарративе о писателе «из народа» целый набор ролей, так или иначе варьирующих образ символического предка.

Что касается собственно литературы, то работа над *opus magnum* Гребенщикова – многотомным романом «Чураевы» – шла в перспективе сопоставления его с «Войной и миром». Эти сравнения образовали довольно широкий спектр – от полного риторического отождествления двух книг в письме к Горькому, датированном февралем 1918 г. [14. Т. 3. С. 468]³, до характеристики своего романа как более «народного», нежели «Война и мир»⁴.

Параллельно с этим Гребенщиков не раз писал о «Войне и мире» как о сакральной книге, «„Святая Святых“»⁵ нашей отечественной классической литературы» [15. Ед. хр. 56739/144. Л. 1]. Как в таком случае можно объяснить гребенщikovское соперничество с Толстым, доходившее до полного отождествления «Чураевых» с «Войной и миром»? Как нам представляется, эта на первый взгляд парадоксальная ситуация объясняется тем, что задача написать «„Войну и мир“ лучше Толстого» стала важнейшей частью процесса самоканонизации Гребенщикова в статусе писателя «из народа», который одновременно наследует классике и негативно само-

¹ О сакрализации Гребенщиковым Толстого и Ясной Поляны см.: [26. С. 68–89]. Ср.: [23. С. 102].

² См. об этом прежде всего: [26]. Об этой поездке в связи с репрезентациями биографической «травмы» в ранних произведениях Гребенщикова см.: [27. С. 347–348, 354].

³ В нем Гребенщиков писал, что «испытыва[ет] такую любовь к земле и солнцу, к животным и растениям, что, кажется, суме[ет] написать “Войну и мир” – лучше Толстого – вот до чего доходит дерзость после или в момент отчаяния!..» [14. Т. 3. С. 468].

⁴ В марте 1957 г. Гребенщиков писал своему старинному сибирскому другу И.Г. Савченко, в то время жившему во Франции: «<...> перечитываю “Войну и мир” и как я горд, что и сам написал восемь томов нечто вроде “Войны и мира”, – только не о высшем свете Москвы и Петербурга, а о простом народе, и не об одном Каратаеве, а о сотнях их, и эта параллель когда-то будущим судьям нашей литературы БУДЕТ исторической летописью, хотя не такого размаха, как Льва Толстого» [22. С. 151–152].

⁵ Изначально в машинописи оба образующих эту конструкцию слова начинались со строчной буквы и не были закавычены.

определяется по отношению к ней, стараясь расширить рамки литературного канона, чтобы внести туда собственное имя.

11 апреля 1957 г. Гребенщиков сообщал об обдумываемом желании назвать всю свою «эпопею» «ВОЙНА И БУНТ», чтобы это никак не было похоже на «Войну и мир»» [22. С. 163]¹. Очевидно, однако, что стремление прозаика подобрать название, которое бы «никак не было похоже на «Войну и мир»», едва ли могло быть реализовано в полной мере, поскольку он по-прежнему мыслил в рамках «толстовской» парадигмы. Вместе с тем вторую часть этого потенциального заглавия, призванную снять толстовскую дихотомию, можно интерпретировать как сигнал «бунта» против Толстого, а не только того, что «русский бунт» является объектом репрезентации в «Чураевых».

Более того, Гребенщиков неоднократно прибегал к риторической дискредитации Толстого. В письме к В.Ф. Булгакову от 21 сентября 1938 г. он объяснял, что перестал писать литературные обозрения потому, что они не приносят заработка, и довольно резко подчеркивал, что «стал плотником и каменщиком буквально ради хлеба насущного, а литература – что останется». В этом, по мнению Гребенщикова, состояло его отличие от Толстого, который «после работы на земле, выбирает повкуснее грибки и проч... Наше дело – закон борьбы “взаболь”, а не от избытка философского величия» [22. С. 75–76]. Схожий, хотя и смягченный, акцент на «аристократизме» Толстого, который, по Гребенщикову, почти автоматически исключает возможность принадлежать к истинно «народной» среде, позднее появится в заметке «Волнуемся, как море-океан...». В ней Гребенщиков вновь описывает, как сидел рядом с Толстым и «чувствовал не только теплоту его тела, но и повышенную температуру»: «<...> эти руки с голубыми прожилками, не тонкие, аристократические руки, хотя и державшие <в свое время>² соху и шившие³ сапоги <...>» [15. Ед. хр. 56739/144. Л. 2]⁴. Наконец, в написанной в 1950-е гг. и неопубликованной статье «Нормально ли современное человечество?» Гребенщиков пренебрежительно отзывался об «упрощенчестве Льва Толстого» [15. Ед. хр. 56739/223. Л. 8] и критиковал автора «Севастопольских рассказов» за то, что тот, по его мнению, не был в состоянии понять «совершенно пророчески[х] вещ[ей]» Л. Андреева «Царь Голод» и «Красный

¹ Любопытно, что в этом же письме Гребенщиков сравнил И.Г. Савченко, в предыдущем письме которого к нему содержался короткий мемуарный военный очерк, с автором «Войны и мира»: «Картина самого наступления и боя написана тобой немножко лучше Толстого, это – ФАКТ <...>» [22. С. 164].

² Вписано над строкой.

³ Далее зачеркнуто: «себе». В контексте предпринятой Гребенщиковым дискредитации толстовского физического труда как своеобразной эгоистической аристократической «причуды» это зачеркивание можно интерпретировать как снижение градуса критики.

⁴ О «подчеркивании» Гребенщиковым «противоречий[и] в образе жизни Толстого» см.: [26. С. 62–64].

смех» и лишь «огрызнулся» знаменитой репликой «Он пугает, а мне не страшно!» [15. Ед. хр. 56739/223. Л. 7].

Разные варианты дискурсивного «бунта» Гребенщикова против Толстого можно объяснить тем, что его не удовлетворяла роль эпигона классической традиции, создающего обреченную на вторичность «вариацию» толстовской книги. Как справедливо отмечает С.Н. Зенкин, «[к]лассический канон образует устойчивое и в принципе неизменное ядро культурной памяти, по отношению к которому все вновь создаваемые тексты культуры являются пояснениями и вариациями» [28. С. 281–282].

Сопоставляя очерки «В Ясной Поляне», «Памяти Великого» и «У Льва Толстого», Т.Г. Черняева писала, что гребенщиковское «отношение к Толстому было одновременно притяжением и отталкиванием, подражанием и попыткой соперничества» [26. С. 60]. Примеры, оставшиеся за пределами внимания исследовательницы, показывают, что автомифотворческая и жизнестроительная стратегии Гребенщикова, включавшие самопроекции на фигуру Толстого, оставались амбивалентными до конца его литературной карьеры. Подход Гребенщикова предполагал то следование толстовской модели, то полемику с ней или даже использование фигуры Толстого в качестве «конституирующего Другого» (И. Нойманн). «Попытка соперничества» с Толстым и критика его «аристократизма» давали Гребенщикову возможность дополнительной легитимации в статусе писателя «из народа», создателя «народной» эпопеи, написанной одновременно «по следам» «Войны и мира» и в процессе полемического отталкивания от книги Толстого.

Менее разработанными, но на разных этапах не менее значимыми стали «пушкинские» автопроекции Гребенщикова. Уже в раннем стихотворении «Моя отчизна» (1906) сибирский литератор использовал аллюзии на пушкинскую поэзию, принципиально важные для манифестации его биографического мифа. Вторая строфа стихотворения («И рос угрюмым я, и все берег / Для жизни рабское терпенье: / Я жил бесцветно, как и все мы – / Без ропота, без сожаленья...» [29. С. 2]) содержала одновременно прозрачную ритмико-семантическую аллюзию на пушкинское «без божества, без вдохновенья» из стихотворения «К ***» («Я помню чудное мгновенье...») и полемику с призывом лирического субъекта знакового для Гребенщикова стихотворения Пушкина «Во глубине сибирских руд» – «Храните гордое терпенье».

Этим апелляции Гребенщикова к наследию, а затем и к мифологизированной биографии Пушкина не ограничились. В самом начале 1920-х гг., оказавшись в эмиграции, он концептуализировал свой опыт с помощью самопроекции на фигуру Овидия, адаптируя миф о римском поэте-изгнаннике «под себя» не только напрямую. Опосредующим звеном для Гребенщикова стал случай Пушкина, который, как хорошо известно, в «южной» ссылке использовал Овидия в качестве житнетворческой модели¹.

¹ Подробнее об этой многоступенчатой жизнестроительной операции Гребенщикова см.: [30].

20 января 1937 г. Гребенщиков прочел лекцию о Пушкине в чикагском Northwestern University, «по-пушкински» облачившись во фрак и цилиндр¹. В этой лекции Гребенщиков характеризовал поэта и свою мать как «самых любимых путеводных товарищей»². Вспоминая о виденных в парижской студии эскизах «кистей соломоновых рук», выполненных художником, который «посвяти[л] свою жизнь воссозданию облика» библейского царя, Гребенщиков говорил:

Если бы я мог сделать набросок хотя бы даже одной руки Пушкина, которая однажды была обращена к Сибири с его бессмертным и пробуждающим посланием к сибирским узникам!

Моя мать, жена простого рудокопа, уловила это послание много лет спустя после смерти Пушкина, поскольку его поэзия бесконечно проникновенна.

И если я сегодня стою перед вами, то это благодаря Пушкину и моей матери. Пушкин и моя мать³ всегда были для меня самыми любимыми путеводными товарищами.

Пушкин и моя родина Россия, Пушкин и свет мировой культуры – все это единый, непоколебимый идеал моей жизни. Когда я покинул Россию, то не взял ничего, кроме Библии, портрета матери и книг Пушкина [31. С. 164–165]⁴.

Такая сакрализация фигуры Пушкина коррелирует с функцией «небесного покровителя» литературного alter ego Гребенщикова Егорки, которой автор наделяет Пушкина в книге «Егоркина жизнь», итоговой манифестации гребенщико-вского персонального мифа о писателе «из народа». В одной из сцен Пушкин (не названный прямо) контаминируется в воображении героя с его матерью, которая в «буранливую ночь» читает в избе «Буря

¹ Фотографию, зафиксировавшую этот житнетворческий жест, см.: [31. С. 162]. На следующий день Гребенщиков сообщал В.Ф. Булгакову о том, что «был главным докладчиком на Пушкинских торжествах», подчеркивая, что считает свою лекцию значимым событием, «не менее важным для русской культуры, нежели выпуск 6-го тома эпопеи» (речь идет о романе “Лобзание змия”, одном из томов “Чураевых”. – А.Г.) [22. С. 70]. 11 марта Гребенщиков написал Булгакову еще одно письмо, к которому приложил «ряд университетских программ о моих лекциях о Пушкине, по Америке просто для коллекции» [22. С. 72]. По всей вероятности, речь шла о коллекции Русского культурно-исторического музея, созданного по инициативе жившего в то время в Праге Булгакова и открытого в Збраславе в сентябре 1935 г.

² Ср. характеристику Тургенева, Толстого и Горького как «мои[х] как бы спутник[ов] в жизни» в цитированном письме к М. Горькому от 17 апреля 1928 г.

³ Обратим внимание на символически значимый в данном случае порядок слов: Гребенщиков два раза подряд сначала называет Пушкина, а уже затем мать.

⁴ В другом месте этой лекции Гребенщиков снова помещал Пушкина в христианский контекст, характеризуя строенный «пушкинский» том «Литературного наследства» (16/18) (ошибочно названный им «Литературным наследием Пушкина»), вышедший в свет в 1934 г., «Евангелие[м], новы[м] советски[м] молитвенник[ом], посвященны[м] Пушкину» [31. С. 166].

мглою небо кроет...»: «<...> постучался кто-то столь родной и близкий и столь великий, столь все понимающий и знающий все подробности их жизни, что он никогда-никогда их не оставит, а Егорку поведет через тернистые пути его будущей жизни и поможет, поможет все перенести, все вытерпеть» [14. Т. 6. С. 141]¹.

Вообще говоря, мотив пушкинского благословения впервые возник в сочинениях Гребенщикова еще до эмиграции. Об этом, например, идет речь в дневнике 1918–1920 гг., названном автором «Мемуарами Георгія Гребенщикова». В записи, сделанной в Крыму 30 декабря 1918 г. (12 января 1919 г.), читаем: «Как передала Людм. Серг. Елпатьевская-Врангель, мой рассказ “Родник в Пустыне” она послала в Лондон для перевода на английский язык – Диане (Шкловскому) через поехавшую в Лондон англичанку внучки А.С. Пушкина. Эта внучка и взяла пакет с рукописью для передачи на пароход англичанке. Какое милое и трогательное совпадение, как будто через руки своей внучки Пушкин дает мне свое благословение» [14. Ед. хр. 64792. Л. 13–13 об.]².

В чикагской лекции Гребенщиков говорил об аристократизме Пушкина, однако подчеркивание аристократического происхождения поэта не становилось, в отличие от того, как это было в случае с Толстым, инструментом стигматизации классика: «И хотя Пушкин был аристократом с головы до пят, он никогда: ни в озарении славы, ни во мраке суровых дней – не забывал о народе, который терпеливо и безропотно нес свою рабскую ношу», поскольку Пушкин, по словам Гребенщикова, был «сын[ом] своего народа, возвращенн[м] народом и преданн[м] народу» [31. С. 167], а «[p]усский народ, русская почва и особенно русская история служили ему тем садом, где росли цветы его поэзии» [31. С. 168]³.

В 1948 г. Гребенщиков создал очерк «В гостях у Пушкина», который, с одной стороны, образует своеобразную диалогию с очерком «На фарме толстовского фонда» (1947)⁴, с другой же – коррелирует с корпусом текстов, рассказывающих о поездке автора в Ясную Поляну. В этом очерке описано

¹ Текст «Егоркиной жизни» апеллирует к пушкинскому наследию и на уровне поэтики: Гребенщиков помещает в стихотворное «Посвящение» аллюзию на «Евгения Онегина» – вполне «пушкинскую» характеристику своей книги как «плода». Стоит оговориться, что в «Егоркиной жизни» эта метафора погружена в совсем иной, нежели в первоисточнике, патристически-серьезный, контекст: «Сей плод любви к родной стране я посвящаю <...>» [14. Т. 6. С. 9]. Кроме того, в поэтической форме посвящения, предпосланного прозаической книге, тоже можно усмотреть прямое пушкинское влияние.

² В чикагской лекции Гребенщиков вспоминал о крымской встрече с внуками Пушкина. См.: [31. С. 165].

³ Здесь Гребенщиков в очередной раз активизирует свой биолого-органицистский метафорический арсенал. В этой же лекции он назвал сочинения Пушкина «плодоносными» [31. С. 166].

⁴ В нем содержится короткое напоминание о посещении Ясной Поляны, которое понадобилось автору, чтобы побудить дочь Толстого «Александр[у] Львовн[у]» рассказ[ать] что-либо о себе и об отце <...>» [14. Т. 6. С. 370].

другое «литературное паломничество», предпринятое Гребенщиковым через сорок лет после посещения Ясной Поляны, в 1947 г., – поездка на ферму Русского объединенного общества взаимопомощи Америки (РООВА)¹.

Эта поездка Гребенщикова носила, разумеется, менее принципиальный характер по сравнению с «паломничеством» к Толстому. Перед литератором в 1948 г. не стояло задачи легитимации собственного литературного статуса, сопоставимой с той, что имела место в 1909 г., когда он отправился в Ясную Поляну. Кроме того, ферма РООВА, в отличие от Ясной Поляны, центральной «святыни» толстовского мифа, никоим образом не относилась к числу «пушкинских» мест.

Поездка была предпринята Гребенщиковым по деловой необходимости, но практическая мотивировка уже в начале очерка заменяется символической – необходимостью «поклониться» Пушкину, осознанной при виде памятника поэту. Подчеркнем, что речь идет о поклоне не памятнику Пушкину, а самому Пушкину, который «прозревается» за монументом. В очерке «У Льва Толстого» Гребенщиков писал о своем намерении поехать на открытие памятника Гоголю, которое изменил в пользу поездки в Ясную Поляну, «прочитав о болезни Толстого» [14. Т. 4. С. 419]. В случае с Пушкиным выбор между поездкой к живому классику и посещением памятника уже почившему был по очевидным причинам невозможен. Вполне вероятно, что прием «оживления» памятника Пушкину в этом очерке стал своего рода компенсацией отсутствия возможности побеседовать с живым классиком, которая была у начинающего литературный путь сибиряка в 1909 г. Описывая свой приезд и посещение памятника, Гребенщиков использует топику пушкинского «Памятника». Он расширяет географию претекста, включая в нее родной для себя Алтай и американское пространство, в котором происходит инициированная его воображением символическая «встреча» поэта-классика и современного литератора, претендующего на статус его «наследника» и «потомка»: «Вот и я, с алтайских гор, древней родины калмыков <...> пришел на эту незарастающую тропу, чтобы поклониться Александру Сергеевичу вдали от Родины, в просторах Америки, куда тоже донеслись звуки его заветной лиры» [14. Т. 6. С. 375].

В описанном далее «разговоре с Пушкиным» Гребенщиков актуализирует мотив «ожившей статуи», который стал, как показал еще Р.О. Якобсон [33], одним из инвариантов поэтики Пушкина². Памятник

¹ О.В. Воробьева указывает, что Гребенщиков играл «[а]ктивную роль в деятельности РООВА, в том числе в работе просветительной комиссии» и был избран в 1929 г. «почетным председателем 1-го отдела общества» [32].

² В этой связи важно, что Гребенщиков, как это следует, например, из его «пушкинской» лекции 1937 г., внимательно следил за происходившей в советской культуре сталинского времени литературной канонизацией Пушкина и апроприацией официальной властью его фигуры, наиболее отчетливо выразившейся в юбилейных мероприятиях 1936–1937 гг. Так, в этой лекции Гребенщиков цитировал статью в «Известиях» от 6 июня 1936 г. [31. С. 166]. По наблюдению Джонатана Брукса Платта, в юбилейном советском дискурсе

поэту, изображенный как типичный пушкинский герой, балансирующий на грани статуйности и динамики, «оживает»: «Александр Сергеевич, казалось, улыбнулся моим думам <...>»; «Александр Сергеевич замолк. По лицу его как будто скользнула тень, и глаза стали вдруг грустными»; «Глаза его как бы прищурились на что-то в отдалении» [14. Т. 6. С. 375]; «Александр Сергеевич молча всматривался в тишину ночи, и казалось, взгляд его отдыхал на каких-то давних и далеких видениях» [14. Т. 6. С. 377]. Затем «оживший» памятник произносит монолог, в котором излагает набор «сокровенных» идей, обнародованных рассказчиком вопреки воле собеседника. «Александр Сергеевич запретил мне выдавать на общий суд нашу с ним беседу, я решил нарушить его завет» [14. Т. 6. С. 380]. Нарушение запрета мотивируется ролью носителя пушкинского «глагола», которую Гребенщиков отводит себе: «<...> пророческий глагол его должен прожечь сердца людей, которым еще дорого его имя <...>» [14. Т. 6. С. 380].

Эта мотивировка, как кажется, напрямую коррелирует с объяснением причины, при помощи которой Гребенщиков в очерке «У Льва Толстого» обосновывал необходимость нарушения «лучших традиций русской литературы», «не позволя[вших] кому бы то ни было говорить или писать о себе». Кроме того, что Гребенщиков, систематически делавший главным объектом своего письма собственную фигуру и оставивший большой корпус автодокументальных текстов, вообще регулярно нарушал эти «лучшие традиции русской литературы», здесь важно одно обстоятельство. Указанные фрагменты очерков «У Льва Толстого» и «В гостях у Пушкина» (объединенных, помимо всего прочего, общей моделью построения заглавий) стягивают в один узел сразу несколько функций автоканонизации Гребенщикова и позволяют понять, почему, повествуя о классиках, он переходил к «разговору о себе».

Дело в том, что в этих «выданных» Гребенщиковым «на общий суд» «пушкинских» идеях без труда опознаются важнейшие положения эмигрантской публицистики и эпистолярия Гребенщикова: идея о подлинности русской церковности, создавшей «настоящую русскость» («<...> особенно религиозен я не был, а теперь думаю, что прочное сидение мое здесь мне мог бы обеспечить, пожалуй, только Св. Владимир. Уж если они меня продолжают почитать, то нельзя не почитать и настоящей русскости, которую создала историческая русская церковность»); тезис о доминировании «духовности» над «новой философией» («Под самыми заманчивыми идеями, на научном основании, со ссылками на авторитеты не только в виде кабака, но и во всеоружии новейшей философии врата адовы забирают страшную силу...») и т.п. [14. Т. 6. С. 378–379]. Справедливости ради отметим, что наделение Пушкина собственными идеями имело и чисто практическую мотивировку – в этом очерке Гребенщиков критиковал рус-

важное место занимал именно «образ ожившей статуи» [34. С. 248]. Поэтому можно предположить, что использованный в очерке Гребенщикова образ восходит не только к художественному миру Пушкина, но и к его советской рецепции.

скую диаспору в Америке, призывая ее «немедленно собрать путем добровольных жертв необходимую сумму <...> для достройки Дома имени Пушкина <...>» [14. Т. 6. С. 380].

Вскоре Гребенщиков вкладывает в уста Пушкина переименованный фрагмент уже цитированного монолога Пимена – слова «Да ведают потомки православных // Земли родной минувшую судьбу» он переименовывает следующим образом: *Да ведают потомки православных // Страны родной жестокою судьбу...* [14. Т. 6. С. 377]. В результате нейтральные слова Пимена заменяются трагической оценкой отечественного исторического опыта.

Наделение Пушкина суммой собственных идей и «поправка», которую Гребенщиков вносит в текст «Бориса Годунова» – яркие примеры автоканонизации, реализуемой уже не на тематическом уровне (с помощью деклараций «наследования» классикам и благотворной учебы у них), а на более глубоком уровне структуры текста.

Кроме того, помещая Пушкина в Америку, Гребенщиков наделяет поэта, который не имел опыта пребывания за пределами Российской империи, собственным эмигрантским, изгнанническим опытом. Сопоставление этого приема и сравнения своей «борьбы “взаболь”» с «выбира[нием] повкуснее грибк[ов] и проч.», которым Гребенщиков стигматизировал псевдокрестьянские, на его взгляд, устремления Толстого, лишний раз свидетельствует об исключительном месте, которое Гребенщиков отводил Пушкину в своей версии русского литературного канона. Будучи экстраполированной на эпизод разговора ожившего памятника с рассказчиком в очерке «В гостях у Пушкина», характеристика Пушкина как «моего Бога», данная Гребенщиковым в цитированном письме Горькому от 17 апреля 1928 г. подспудно вводит в очерк тему теофании.

На этом фоне выглядит парадоксально предпринятое здесь Гребенщиковым преодоление символической дистанции между рассказчиком и Пушкиным: Пушкин одновременно является великим русским поэтом и вступает с Гребенщиковым в доверительный историософский диалог, делая его своим конфидендом и устраняя тем самым символическую дистанцию между ними. Однако амбивалентная ситуация сочетания сакрализации классика и некоторой профанизации или интимизации его фигуры была вполне типичной для Гребенщикова. Сходным образом дело обстояло и в случае с Толстым (о чем уже говорилось), и, например, в случае со «старшим» областником Г.Н. Потаниным. В своих сочинениях Гребенщиков одновременно интимизировал отношения с Потаниным («дедушка», «отец») и сакрализовал его фигуру («полубог»¹), активно сочетая родственные и квазирелигиозные метафоры.

¹ Н.В. Серебренников справедливо отмечает, что «обращения Гребенщикова к “полубогу” Потанину несут в себе элементы молитвы» [35. С. 257]. Ср. описание священного трепета перед Толстым, в доме которого Гребенщиков «снял шапку и стоял как приготовленный к молитве», а на обратном пути «ехал без шапки, которую держал в руках, как в церкви» [14. Т. 4. С. 420, 424] или слова о том, что чувство, охватившее

Итак, Гребенщиков использовал вполне привычный для русской литературы XX столетия прием, устойчивый в широком эстетическом и идеологическом диапазоне от символистов с их «попытк[ами] <...> превратить Пушкина в конечную цель развития русской культуры и желание[м] стать его преемниками» [36. С. 34] до писателей-«деревенщиков», стремившихся к легитимации собственного положения в литературе «на фоне Пушкина» [9. С. 180–273], а именно: конструирование топики наследования Пушкину с отчетливой целью усиления собственной литературной репутации, а значит, и своих позиций в поле литературы.

Амбиции Гребенщикова поддерживались сравнениями «Чураевых» и других его произведений с сочинениями Толстого (прежде всего с «Войной и миром») и Пушкина. Такая рецепция возникала среди самых разных читателей и, безусловно, интенсифицировала гребенщиковские самопроекции на Толстого. В качестве характерного примера приведем оценку одного из корреспондентов Гребенщикова – бывшего генерала П.Н. Краснова, который в письме к нему от 9 августа писал: «В “Дреми” Вы достигаете толстовских высот, таких, каких он достиг в “Казаках” <...>» [22. С. 48]. Уже через месяц, 14 сентября 1934 г., Краснов поднял градус оценок гребенщиковской прозы еще выше, сообщив автору, что в первом «сказании» «Былины о Микеле Буяновиче» он «выше гр[афа] Л.Н. Толстого в его народных повестях, как “Хозяин и работник”, “Коготок увяз и всей птичке пропасть”, и пр., и уж, конечно, неизмеримо выше другого народника Максима Горького» [22. С. 51]¹. Спустя два десятилетия, 27 ноября 1953 г., один из наиболее важных для автора «Чураевых» корреспондентов, авиаконструктор И.И. Сикорский, писал ему об этой книге так: «Пожалуйста, разреши мне еще раз повторить, что, по моему мнению, твоя работа имеет огромное значение. Сложно переоценить, какова будет ее ценность через 50, 100 или более лет. Убежден, что она намного превзойдет «Войну и мир» и, в сущности, останется уникальной» [38. С. 182].

В письме от 26 марта 1934 г. Краснов, вообще бывший внимательным читателем Гребенщикова, писал ему о своих впечатлениях от оставшейся неопубликованной поэмы «Царевич»: «Понравился и “Пролог” <...> певу-

Гребенщикова, когда он покидал Ясную Поляну, «до сих пор необъяснимо, но оно живет во мне какой-то освежающею благодатью <...>» [15. Ед. хр. 56739/144. Л. 3].

¹ Учитывая предложенную Красновым перспективу сравнения Гребенщикова с автором «Войны и мира», важно отметить, что и самого бывшего генерала сопоставляли с Л.Н. Толстым. По словам В.С. Варшавского, в эмиграции «встречались люди, искренне верившие, что П.Н. Краснов как писатель выше Льва Толстого. Краснов, – говорили они, – восславил непонятые Толстым величие и правду царской России и был не случайный военный, а генерал, и поэтому лучше описал войну» [37. С. 148]. В примечании Варшавский приводит показательный пример такой рецепции: «Пика это достигло под пером капитана К.С. Попова, который, вступив в полемику с Г.В. Адамовичем, сравнившим две эпопеи не в пользу П.Н. Краснова, посвятил целую книгу доказательству того, что эпопея генерала Краснова во всех отношениях превосходит “Войну и мир”» [37. С. 460–461].

чий, я бы сказал – пушкинский...» [22. С. 39]. Вскоре, в письме от 2 мая того же года, Краснов сообщал Гребенщикову, что послал поэму генералу Лукомскому, которому, «судя по письму мне, очень понравились введение и заключение с их звучными, совсем пушкинскими стихами <...>» [22. С. 42].

Учитывая, что Гребенщиков старательно собирал и систематизировал отзывы о себе¹ и регулярно оперировал ими в ходе литературной полемики (в письмах и не только)², можно предположить, что высокие оценки его творчества не могли не стимулировать или, по крайней мере, не поддерживать его автоканонирующих жестов.

Помимо приведенных оценок, свидетельством частичной (в первую очередь – прижизненной) успешности гребенщиковской стратегии самоканонизации, результативности его усилий, направленных на то, чтобы создать репутацию наследника писателей-классиков, является то, что эта репутация была поддержана уже после его смерти исследователями его биографии и литературного наследия, зачастую воспроизводившими гребенщиковские автохарактеристики и смешивавшими тем самым элементы языка-объекта и метаязыка³. Такая ситуация сохраняется вплоть до сегодняшнего дня.

Гребенщиков, как это явствует из приведенных примеров, число которых можно умножить, не просто сопоставлял себя с Пушкиным или Толстым, а решал проблему литературной автоканонизации. Однако эта цель не была для него самоценной. Работая над ее достижением, писатель вместе с тем корректировал персональный миф о писателе «из народа», который сквозь все преграды движется из «тьмы» невежества и нищеты к «свету» культуры, все дальше идя по пути агиографизации этого мифа. Поэтому при обсуждении автомифотворческих и жизнестроительных стратегий Гребенщикова было бы неверно ограничиться пониманием работы с литературным каноном исключительно как борьбы за ресурс символической власти. Дело в том, что наращивание символического капитала, которое призваны были обеспечить апелляции Гребенщикова к идее классики и классическому наследию, использовалось литератором не только в автомифотворческих и жизнестроительных целях.

Судя по всему, укрепление своей литературной репутации с помощью ее «классикализации» было призвано упростить задачи Гребенщикова как организатора литературного процесса и – шире – интеллектуала и практи-

¹ Доказательством этому служит хранящийся в ГМИИКА альбом, в котором Гребенщиков помещал вырезки из газет и журналов, содержавших посвященные ему публикации.

² Так, в письме к тому же Краснову от 11 октября 1934 г. Гребенщиков говорит о том, что его «Былина о Микуле Буяновиче» «имела в свое время блестящую критику с обеих сторон до того, что когда она попала в руки одному совконсулу в Канаду, он предложил мне безопасное возвращение в Россию <...>», а затем вспоминает, что «[п]исатель Муйжель, псковитянин, как-то мне писал, что в русской литературе никто до меня не описывал мужика с таким достоинством <...>» [22. С. 54].

³ Подробнее о попытках литературной канонизации Гребенщикова см.: [39].

ческого деятеля, занятого консолидацией культурных сил. Литература для Гребенщикова, мыслившего в рамках литературоцентристской парадигмы, была ключевым фактором развития культурно-социальной среды, которую он стремился активно формировать и в сибирский период своей писательской карьеры, и в европейский период эмиграции, и, в особенности, в Америке. Напомним, что Гребенщиков перебрался из Европы в Америку в 1924 г. и прожил там до своей смерти, последовавшей в 1964 г. В 1925 г. он купил землю у Ильи Львовича Толстого. Этот факт автоматически обеспечивал символическую связь основанной Гребенщиковым в штате Коннектикут «русской деревни» с толстовским родовым имением¹, которая, возможно, была поддержана еще и портретным сходством И.Л. Толстого с отцом. Вскоре эта возникшая в силу стечения обстоятельств связь была укреплена И.Л. Толстым и Гребенщиковым: в Чураевке был Холм Толстого – лесные чащи, окружавшие усадьбу И.Л. Толстого, названную им Ясной Поляной, а одна из улиц деревни получила название Tolstoy lane². Все эти примеры устройства повседневности деревни, которую Гребенщиков, в эмиграции «не переста[вший] идентифицировать самого себя с Сибирью» [41. С. 16], организовывал и регулярно описывал как «сибирский» локус, подтверждают наблюдение К.В. Анисимова, согласно которому «[п]остройка <...> Чураевк[и] может быть интерпретирована не иначе как попытка ощутить себя внутри исконного историко-культурного пространства <...>» [41. С. 17].

Наконец, воображение себя наследником Толстого или Пушкина, а подчас и своего рода исполнение роли того или иного классика было, как мы увидели, продуктивным в литературном смысле, а также приобретало характер самоценного творчества, а точнее – житнетворчества, житнетворческого спектакля. С той оговоркой, что «единицей» творчества в данном случае становился не литературный текст, а житнетворческий жест.

Иными словами, литературная автоканонизация Гребенщикова имела целый комплекс функций: она была одновременно и средством формирования его персональной писательской мифологии, и житнетворческим ресурсом, и инструментом институционального строительства.

¹ Любопытно, что сочувственно относившиеся к Гребенщикову и его идеям посетители Чураевки зачастую стремились сделать акцент именно на отсутствии «аристократизма» в этой «русской деревне». Так, С.М. Ермаков в статье «Чураевка и ее строитель» подчеркивал, что «Чураевка – это не графское поместье, не помещичье имение <...>; «это не помещичья и не графская усадьба <...>» [15. Ед. хр. 16015/2. Л. 4, 7]. Такие оценки, на наш взгляд, нужно рассматривать в перспективе гребенщиковской критики «аристократизма» Толстого.

² Специально о роли И.Л. Толстого в основании Чураевки и символизации ее быта см.: [40. С. 305–319]. Подробнее о житнетворческой ориентации Чураевки на Ясную Поляну см.: [24].

Список источников

1. Гронас М. Диссенсус: Война за канон в американской академии 80–90-х годов // Новое литературное обозрение. 2001. № 51. С. 11–15.
2. Вдовин А., Лейбов Р. Хрестоматийные тексты : русская поэзия и школьная практика XIX столетия // Acta Slavica Estonica IV. Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение, IX. Хрестоматийные тексты: русская педагогическая практика XIX в. и поэтический канон / под. ред. А. Вдовина, Р. Лейбова. Тарту, 2013. С. 7–34.
3. Зенкин С. «Классика» и «современность» // Литературный пантеон: национальный и зарубежный. М., 1999. С. 32–44.
4. Дубин Б.В. Классик – звезда – модное имя – культовая фигура: О стратегиях легитимации культурного авторитета // Культ как феномен литературного процесса : Автор, текст, читатель. М., 2011. С. 324–330.
5. Зенкин С.Н. От текста к культу // Культ как феномен литературного процесса: Автор, текст, читатель. М., 2011. С. 133–140.
6. Дубин Б., Зоркая Н.И. Идея «классики» и ее социальные функции // Дубин Б. Классика, после и рядом : Социологические очерки о литературе и культуре. М. : Новое литературное обозрение, 2010. С. 9–42.
7. Майофис М. Воззвание к Европе: Литературное общество «Арзамас» и российский модернизационный проект 1815–1818 годов. М. : Новое литературное обозрение, 2008. 800 с.
8. Анисимова Е.Е. Творчество В.А. Жуковского в рецептивном сознании русской литературы первой половины XX века. Красноярск : СФУ, 2016. 468 с.
9. Разуvalова А. Писатели-«деревенщики» : литература и консервативная идеология 1970-х годов. М. : Новое литературное обозрение, 2015. 616 с.
10. Блум Г. Западный канон. Книги и школа всех времен / пер. с англ. Д. Харитонова. М. : Новое литературное обозрение, 2017. 672 с.
11. Ямпольский М. Литературный канон и теория «сильного» автора // Иностранная литература. 1998. № 12. С. 214–221.
12. Гронас М. Безымянное узнаваемое, или Канон под микроскопом // Новое литературное обозрение. 2001. № 51. С. 68–88.
13. Манхейм К. Консервативная мысль / пер. с англ. А.И. Миллера, Т.И. Студеникиной // Манхейм К. Диагноз нашего времени. М., 1994. С. 572–668.
14. Гребенников Г.Д. Собрание сочинений : в 6 т. / сост., подг. текста, вступ. ст. Т.Г. Черняевой. Барнаул : Издательский Дом «Барнаул», 2013.
15. ГМИЛИКА. ОФ.
16. Гребенников Г. Бальмонт: Очерк / публ. В. Росова // Алтай. 2017. № 3. С. 172–181.
17. Азадовский К.М. «Гагаря судьбина» Николая Клюева. СПб. : Инапресс, 2004. 199 с.
18. Лекманов О., Свердлов М. Сергей Есенин : биография. М. : Астрель : CORPUS, 2011. 624 с.
19. Шевеленко И.Д. Модернизм как архаизм: национализм и поиски модернистской эстетики в России. М. : Новое литературное обозрение, 2017. 336 с.
20. Магомедова Д.М. «Я один... и разбитое зеркало...» : литературные маски Сергея Есенина: (Статья первая) // Новый филологический вестник. 2005. № 1. URL : <http://cyberleninka.ru/article/n/ya-odin-i-razbitoe-zerkalo-literaturnye-maski-sergeya-esenina-statya-pervaya> (дата обращения: 20.07.2021).
21. Магомедова Д.М. «Я один... и разбитое зеркало...»: Литературные маски Сергея Есенина: (Статья вторая) // Новый филологический вестник. 2006. № 2. URL : http://slovorggu.ru/nfv2006_1_2_pdf/07Magomedova.pdf (дата обращения: 20.07.2021).
22. Георгий Гребенников. Из эпистолярного наследия (1924–1957) / сост. В.К. Корниенко. Барнаул : ГМИЛИКА : Алтайский Дом Печати, 2008. 172 с.

23. Горбенко А.Ю. Георгий Гребенщиков как Лев Толстой: «толстовский текст» жизнестроительства Г.Д. Гребенщикова // Алтайский текст в русской культуре : сб. ст. / под ред. М.П. Гребневой. Барнаул, 2015. Вып. 6. С. 99–113.
24. Горбенко А.Ю. Чураевка и Ясная Поляна : рецепция толстовской модели в жизнестроительстве Г.Д. Гребенщикова // Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева. 2017. № 1 (39). С. 150–155.
25. Brooks J. Russian Nationalism and Russian Literature : The Canonization of the Classics // Nation and Ideology. Essays in honor of Wayne S. Vucinich / ed. by I. Banac, J. Ackerman, and R. Szporluk. N.Y. : Columbia University Press, 1981. P. 315–330.
26. Черняева Т.Г. Гребенщиков о Льве Толстом // Алтайский текст в русской культуре: материалы второго научного семинара «Алтайский текст в русской культуре» / под. ред. Т.Г. Черняевой. Барнаул, 2004. Вып. 2. С. 60–73.
27. Толстоноженко О.А. Провинциальный интеллигент в столице : рефлексия травмы в раннем творчестве Г.Д. Гребенщикова // Алтайский текст в русской культуре: сборник статей / под. ред. М.П. Гребневой. Барнаул, 2015. Вып. 6. С. 342–357.
28. Зенкин С. Гуманитарная классика: между наукой и литературой // Классика и классики в социальном и гуманитарном знании. М., 2009. С. 281–293.
29. Гребенщиков Г.Д. Моя отчизна // Семипалатинский листок. 1906. № 16. 13 июня. С. 2.
30. Горбенко А.Ю. Овидии с провинциальных берегов: автомифотворчество сибирских литераторов конца XIX – первой трети XX в. // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2020. № 65. С. 180–192.
31. Гребенщиков Г. Пушкин: Лекция / пер. с англ. О. Кудзоевой // Алтай. 2017. № 3. С. 162–171.
32. Воробьева О.В. Культурно-просветительская деятельность общественных объединений Русской Америки XX века // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. 2010. № 2. URL: <http://jurnal.org/articles/2010/hist7.html> (дата обращения: 20.07.2021).
33. Якобсон Р.О. Статуя в поэтической мифологии Пушкина // Якобсон Р.О. Работы по поэтике. М., 1987. С. 145–181.
34. Платт Дж.Б. Здравствуй, Пушкин! : сталинская культурная политика и русский национальный поэт / пер. с англ. Я. Подольного. СПб. : Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2017. 352 с.
35. Серебренников Н.В. Опыт формирования областнической литературы. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2004. 308 с.
36. Левитт М. Пушкин в 1899 году / пер. с англ. М.Б. Кутеевой // Современное американское пушкиноведение : сб. ст. / ред. У.М. Тодд III. СПб., 1999. С. 21–41.
37. Варшавский В.С. Незамеченное поколение / предисл. О.А. Коростелева ; сост., коммент. О.А. Коростелева, М.А. Васильевой ; подгот. текста Т.Г. Варшавской, О.А. Коростелева, М.А. Васильевой ; подгот. текста приложения, послесл. М.А. Васильевой. М. : Дом русского зарубежья им. Александра Солженицына : Русский путь, 2010. 544 с.
38. Росов В. «Исповедь царя» длиной в целый век: Из переписки Г.Д. Гребенщикова и И.И. Сикорского // Алтай. 2018. № 4. С. 157–185.
39. Горбенко А. «Самый неизвестный классик» : механизмы несостоявшейся литературной канонизации Георгия Гребенщикова в 1990-е–2010-е годы // Новое литературное обозрение. 2020. № 164. С. 109–122.
40. Росов В.А. Георгий Гребенщиков: Сын Белухи. Барнаул ; Новосибирск : Экселент, 2021. 544 с.
41. Анисимов К.В. Сибирская литература и проблема авторского самоопределения // Материалы научно-практической конференции преподавателей, аспирантов и студентов филологического факультета. Красноярск, 1997. С. 11–19.

References

1. Gronas, M. (2001) Dissensus. Voyna za kanon v amerikanskoj akademii 80-kh – 90-kh godov [The War for the Canon in the American Academy in the 80s-90s]. *Novoe Literaturnoe Obozrenie – New Literary Observer*. 51. pp. 11–15.
2. Vdovin, A. & Leybov, R. (2013) Khrestomatiynny teksty: russkaya poeziya i shkol'naya praktika 19 stoletiya [Reading texts: Russian poetry and school practice of the 19th century]. In: Vdovin, A. & Leybov, R. (eds) *Acta Slavica Estonica 4*. Tartu: University of Tartu Press. pp. 7–34.
3. Zenkin, S. (1999) ["Classics" and "modernity"]. *Literaturnyy panteon: natsional'nyy i zarubezhnyy* [Literary pantheon: national and foreign]. Materials of the Russian-French Colloquium. Moscow: Nasledie. pp. 32–44.
4. Dubin, B.V. (2011) Klassik–zvezda–modnoe imya–kul'tovaya figura: O strategiyakh legitimatsii kul'turnogo avtoriteta [Classic–star–fashionable name–cult figure: On strategies for legitimizing cultural authority]. In: Nad'yarnykh, M.F. & Urakova, A.P. (eds) *Kul't kak fenomen literaturnogo protsessa: Avtor, tekst, chitatel'* [Cult as a phenomenon of the literary process: Author, text, reader]. Moscow: Institute of World Literature RAS. pp. 324–330.
5. Zenkin, S.N. (2011) Ot teksta k kul'tu [From text to cult]. In: Nad'yarnykh, M.F. & Urakova, A.P. (eds) *Kul't kak fenomen literaturnogo protsessa: Avtor, tekst, chitatel'* [Cult as a phenomenon of the literary process: Author, text, reader]. Moscow: Institute of World Literature RAS. pp. 133–140.
6. Dubin, B. & Zorkaya, N. (2010) Ideya "klassiki" i ee sotsial'nye funktsii [The idea of the "classic" and its social functions]. In: Dubin, B. *Klassika, posle i ryadom: Sotsiologicheskie ocherki o literature i kul'ture* [Classics, after and next: Sociological essays on literature and culture]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie. pp. 9–42.
7. Mayofis, M. (2008) *Vozzvanie k Evrope: Literaturnoe obshchestvo "Arzamas" i rossiyskiy modernizatsionnyy proekt 1815–1818 godov* [Appeal to Europe: Literary Society "Arzamas" and the Russian Modernization Project of 1815–1818]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.
8. Anisimova, E.E. (2016) *Tvorchestvo V.A. Zhukovskogo v retseptivnom soznanii russkoy literatury pervoy poloviny 20 veka* [Creativity of V.A. Zhukovsky in the receptive consciousness of Russian literature in the first half of the 20th century]. Krasnoyarsk: SFU.
9. Razuvalova, A. (2015) *Pisateli-"derevenshchiki": literatura i konservativnaya ideologiya 1970-kh godov* ["Village" writers: literature and conservative ideology of the 1970s]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.
10. Bloom, H. (2017) *Zapadnyy kanon. Knigi i shkola vseh vremen* [The Western canon. The books and schools of the ages]. Translated from English by D. Kharitonov. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.
11. Yampol'skiy, M. (1998) Literaturnyy kanon i teoriya "sil'nogo" avtora [Literary canon and the theory of the "strong" author]. *Inostrannaya literatura–Foreign Literature*. 12. pp. 214–221.
12. Gronas, M. (2001) Bezimyannoe uznavaemoe, ili Kanon pod mikroskopom [The nameless recognizable, or the Canon under the microscope]. *Novoe Literaturnoe Obozrenie – New Literary Observer*. 51. pp. 68–88.
13. Mannheim, K. (1994) Konservativnaya mysl' [Conservative thought]. Translated from English by A.I. Miller & T.I. Studenikina. In: Mannheim, K. *Diagnoz nashego vremeni* [Diagnosis of our time]. Moscow: Yurist. pp. 572–668.
14. Grebenstchikov, G.D. (2013) *Sobranie sochineniy: V 6 t.* [Collected works: In 6 volumes]. Barnaul: "Barnaul".
15. *State Museum of the History of Literature, Art and Culture of Altai*. OF.
16. Grebenstchikov, G. (2017) Bal'mont. Ocherk [Balmont. Essay]. *Altay – Altai*. 3. pp. 172–181.

17. Azadovskiy, K.M. (2004) "Gagar'ya sud'bina" Nikolaya Klyueva ["Loon Fate" by Nikolai Klyuev]. Saint Petersburg: Inapress.
18. Lekmanov, O. & Sverdlov, M. (2011) *Sergey Esenin: biografiya* [Sergei Yesenin: biography]. Moscow: Astrel: CORPUS.
19. Shevelenko, I.D. (2017) *Modernizm kak arkhazim: natsionalizm i poiski modernistskoy estetiki v Rossii* [Modernism as archaism: nationalism and the search for modernist aesthetics in Russia]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.
20. Magomedova, D.M. (2005) "Ya odin... i razbitoe zerkalo...": literaturnye maski Sergeya Esenina ["I am alone ... and a broken mirror ...": literary masks of Sergei Yesenin]. Article 1. *Novyy filologicheskii vestnik – New Philological Bulletin*. 1. [Online] Available from: <http://cyberleninka.ru/article/n/ya-odin-i-razbitoe-zerkalo-literaturnye-maski-sergeya-esenina-statya-pervaya> (Accessed: 20.07.2021).
21. Magomedova, D.M. (2006) "Ya odin... i razbitoe zerkalo...": literaturnye maski Sergeya Esenina ["I am alone ... and a broken mirror ...": literary masks of Sergei Yesenin]. Article 2. *Novyy filologicheskii vestnik – New Philological Bulletin*. 2. [Online] Available from: http://slovorggu.ru/nfv2006_1_2_pdf/07Magomedova.pdf (Accessed: 20.07.2021).
22. Grebenstchikov, G. (2008) *Iz epistol'yarnogo naslediya (1924–1957)* [From the epistolary heritage (1924–1957)]. Barnaul: SMHLACA; Altayskiy Dom Pechati.
23. Gorbenko, A.Yu. (2015) Georgiy Grebenshchikov kak Lev Tolstoy: "tolstovskiy tekst" zhiznestroitel'stva G.D. Grebenshchikova [George Grebenstchikov as Leo Tolstoy: The Tolstoy text of George Grebenstchikov's life-building]. In: Grebneva, M.P. (ed.) *Altayskiy tekst v russkoy kul'ture* [Altai text in Russian culture]. Vol. 6. Barnaul: Altai State University. pp. 99–113.
24. Gorbenko, A.Yu. (2017) Churaevka and Yasnaya Polyana: reception of Tolstoy's model in G.D. Grebenshchikov's life arrangement. *Vestnik Krasnoyarskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. V.P. Astaf'eva–Bulletin of Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V.P. Astafyev*. 1 (39). pp. 150–155. (In Russian).
25. Brooks, J. (1981) Russian Nationalism and Russian Literature: The Canonization of the Classics. In: Banac, I., Ackerman, J. & Szporluk, R. (eds) *Nation and Ideology. Essays in honor of Wayne S. Vucinich*. New York: Columbia University Press. pp. 315–330.
26. Chernyaeva, T.G. (2004) [Grebenstchikov about Leo Tolstoy]. *Altayskiy tekst v russkoy kul'ture* [Altai text in Russian culture]. Vol. 2. Materials of the 2nd Scientific Seminar. Barnaul: Altai State University. pp. 60–73.
27. Tolstonozhenko, O.A. (2015) Provintsial'nyy intelligent v stolitse: refleksiya travmy v rannem tvorchestve G.D. Grebenshchikova [Provincial intellectual in the capital: reflection of trauma in the early work of G.D. Grebenstchikov]. In: Grebneva, M.P. (ed.) *Altayskiy tekst v russkoy kul'ture* [Altai text in Russian culture]. Vol. 6. Barnaul: Altai State University. pp. 342–357.
28. Zenkin, S. (2009) Gumanitarnaya klassika: mezhdru naukoy i literaturoy [Humanitarian classics: between science and literature]. In: Savel'eva, I.M. *Klassika i klassiki v sotsial'nom i gumanitarnom znanii* [Classics and classics in social and humanitarian knowledge]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie. pp. 281–293.
29. Grebenstchikov, G.D. (1906) Moya otchizna [My homeland]. *Semipalatinskiy listok*. 16. 13 June. p. 2.
30. Gorbenko, A.Yu. (2020) Ovids from the Province: Self-Myth-Making of Siberian writers of the End of the 19th to the First Third of the 20th Centuries. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology*. 65. pp 180–192. (In Russian). DOI: 10.17223-19986645-65-11
31. Grebenstchikov, G. (2017) Pushkin. Lektsiya [Pushkin. Lecture]. Translated from English by O. Kudzoeva. *Altay – Altai*. 3. pp. 162–171.
32. Vorob'eva, O.V. (2010) Kul'turno-prosvetitel'skaya deyatel'nost' obshchestvennykh ob"edineniy Russkoy Ameriki 20 veka [Cultural and educational activities of public

associations of Russian America of the 20th century]. *Zhurnal nauchnykh publikatsiy aspirantov i doktorantov*. 2. [Online] Available from: <http://jurnal.org/articles/2010/hist7.html> (Accessed: 20.07.2021).

33. Jakobson, R.O. (1987) Statuya v poeticheskoy mifologii Pushkina [Statue in Pushkin's poetic mythology]. In: Jakobson, R.O. *Raboty po poetike* [Poetic works]. Moscow: Progress. pp. 145–181.

34. Platt, J.B. (2017) *Zdravstvuy, Pushkin!: stalinskaya kul'turnaya politika i russkiy natsional'nyy poet* [Greetings, Pushkin! Stalinist Cultural Politics and the Russian National Bard]. Translated from English by Ya. Podol'nyy. Saint Petersburg: European University at Saint Petersburg.

35. Serebrennikov, N.V. (2004) *Opyt formirovaniya oblastnicheskoy literatury* [Experience in the formation of regional literature]. Tomsk: Tomsk State University.

36. Levitt, M. (1999) Pushkin v 1899 godu [Pushkin in 1899]. Translated from English by M.B. Kuteeva. In: Todd 3, U.M. (ed.) *Sovremennoe amerikanskoe pushkinovedenie* [Modern American Pushkin Studies]. Saint Petersburg: Akademicheskiiy proekt. pp. 21–41.

37. Varshavskiy, V.S. (2010) *Nezamechennoye pokolenie* [The unnoticed generation]. Moscow: Dom russkogo zarubezh'ya imeni Aleksandra Solzhenitsyna: Russkiy put'.

38. Rosov, V. (2018) “Ispoved' tsarya” dlinoy v tselyy vek. Iz perepiski G.D. Grebenshchikova i I.I. Sikorskogo [“Confession of the Tsar” a century long. From the correspondence of G.D. Grebenshchikov and I.I. Sikorsky]. *Altay – Altai*. 4. pp. 157–185.

39. Gorbenko, A. (2020) “The most unknown classic”: the mechanisms of the would-be literary canonization of Georgy Grebenshchikov from 1990s–2010s. *Novoe Literaturnoe Obozrenie – New Literary Observer*. 164. pp. 109–122. (In Russian).

40. Rosov, V.A. (2021) *Georgiy Grebenshchikov: Syn Belukhi* [George Grebenshchikov: A son of Belukha]. Barnaul; Novosibirsk: Ekselent.

41. Anisimov, K.V. (1997) [Siberian literature and the problem of author's self-determination]. Proceedings of the Conference of Teachers, Graduate Students and Students of the Philology Faculty. Krasnoyarsk: KSPU. pp. 11–19.

Информация об авторе:

Горбенко А.Ю. – канд. филол. наук, доцент кафедры мировой литературы и методики ее преподавания Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева (Красноярск, Россия). E-mail: al_gorbenko@mail.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

A.Yu. Gorbenko, Cand. Sci. (Philology), associate professor, Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V.P. Astafiev (Krasnoyarsk, Russian Federation). E-mail: al_gorbenko@mail.ru

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 02.08.2021;
одобрена после рецензирования 02.02.2022; принята к публикации 22.04.2022.

The article was submitted 02.08.2021;
approved after reviewing 02.02.2022; accepted for publication 22.04.2022.